

ВОСПОМИНАНИЯ
ГУНТИС УЛМАНИС

П. БОГУНАЙ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

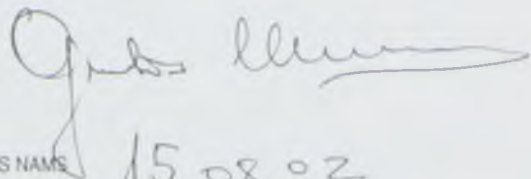
2020 ГОД.

Г. Гунтис

Гунтис Улманис
ПУТЬ
ПРЕЗИДЕНТА

Ув. Андри
Локомотив

с благодарностью





PRESES NAMŠ

15.08.02

Pura

Мы с мамой в то время уже полгода как остались вдвоем и в начале лета 1941 года жили в Падуре. Там нас и забрали чекисты вместе с дедушкой, бабушкой и обоими маминими братьями. В Риге тотчас же отделили мужчин, затем трудоспособных женщин, и в конце концов мы остались вдвоем с бабушкой.

Когда мне сравнительно недавно удалось познакомиться со списками репрессированных, я убедился, что мы с мамой были занесены в два — и в Риге, и в Падуре. Сеть была соткана с особо мелкой ячеей, чтобы я, совсем малек, не вырвался из нее наружу.

Моя судьба отличалась от судеб десятков тысяч точно таких же ссыльных одной деталью — вместе с мамой добровольно поехал мой будущий отчим Александр Румнитис. Он считался другом отца, по крайней мере, близким знакомым, который, по словам бабушки, с самого начала «приударял» за мамой, чего бабушка никогда не могла ему простить. Румнитис был из богатой семьи: его родителям, торговцам из Цесиса, принадлежали дома в Цесисе и в Риге, однако их не выслали. Он поехал с моей мамой по своей воле. А так как сразу же началась война, то, возможно, Румнитис выдал себя за эвакуированного, бежавшего от немцев. Бабушка по своему разумению подозревала, что он «шпион».

Хотя Александр Румнитис и стал, можно сказать, злым духом моего детства и ранней юности, я не могу отрицать, что его присутствие в известной мере облегчило нашу жизнь в Сибири. Допускаю, что он с моей матерью зарегистрировался уже в ссылке, хотя с уверенностью утверждать этого не могу, документов я не видел.

Румнитис не считался высланным, и он добился, что и мама получила некоторую свободу действий. Я несколько раз бывал у нее в гостях в Заозерном, а вообще-то я жил с бабушкой в деревне Буганая. Бабушка относилась ко мне



Тутени с матерью на Рождество в 1941 году

как к своему третьему, младшему, сыну. Мне кажется, что она так и представила меня своим соседям. И поистине, бабушка была самым близким и родным человеком, у которого моя детская душа нашла защиту и убежище.

Само собой разумеется, что от жуткого путешествия в Сибирь в моей памяти не осталось ни малейшей зацепки. Значительно позже, в Латвии, когда я уже подросток, близкие мои ни за что не хотели вспоминать это время и рассказывать о нем. Они желали одного: как можно скорее обо всем забыть — если, конечно, это было бы возможно... Когда я смотрел многосерийный фильм Алоиза Бренча «Долгая дорога в дюнах», меня охватило странное ощущение, что сибирский эпизод — это про нас с бабушкой, это я — прототип. Поразительные совпадения, даже в деталях.

Нас с бабушкой поселили в деревне Буганая возле реки Кап. Деревня состояла из одной длинной улицы, бревенчатые избы одна за другой, а вокруг — тайга. В Буганой из ссыльных жили только мы с бабушкой и еще одна латышка, которую я вспоминаю с чувством светлой благодарности. К сожалению, имя ее я забыл.

Вначале мы жили в русской семье, потом нам с бабушкой выделили отдельную, довольно большую комнату. Именно там из бессознательной тьмы стали появляться передо мной первые образы, явления и события.

Прежде всего — глубокие снега и льды. И как уютное прибежище в этом студеном мире — большая добрая русская печь, на которой я спал. В памяти возникает ее огненный зев, из которого струится тепло. Еду готовили в чугунках, которые задвигали в печь и доставали из печи ухватом. Единственная пища, которую помню, — картошка. Но и ее очень часто не хватало.

Когда нас привезли в Буганую, не было ни что есть, ни во что одеться. Каждый день приходилось отмечаться у властей, чтобы они убедились, что мы не сбежали. Нас представили как фашистское отродье и местным строгонастрого запретили оказывать нам хоть какую-либо помощь.

И тут возникает первая картина из фильма «Долгая дорога в дюнах». Ночью, закутанные в платки, чтобы ищейки не пронюхали и не узнали их, к нам пришли деревенские женщины и принесли ведро картошки и ведро соленых огурцов. Очевидно, они, как и в фильме, долго рассуждали и обдумывали и наконец решили, что пожилая женщина и ребенок неполных двух лет не могут оказаться настолько страшными преступниками, что им и поесть нельзя дать. И женщины пришли, хотя и сами бедствовали, да и вылазка эта могла кончиться для них печально: в военное время оказать поддержку врагам народа — тут шутки плохи. Бабушка всю жизнь помнила этот случай, ведь русские женщины в тот раз, можно сказать, спасли нам жизнь. Да, мы говорим: пришли русские и стали целестремленно уничтожать латышский народ. Однако конкретные русские нас спасали и помогали нам, в то время как те, которые в 1950 году вторично выслали бабушку и моих дядей, были в большинстве своем латыши. Поэтому я не ставлю знака равенства между подручными советской власти и идеологии и народом как таковым. Я благодарен всем людям, которые творили добро и оказывали помощь.

С ведром картошки и ведром огурцов и начали мы с бабушкой наше сибирское житье-бытье. Бабушка с самого раннего утра до поздней ночи работала, кажется, в местном колхозе, а я рос как дичок сам по себе. Я вообще почти не помню бабушку дома. За бесконечные часы работы она получала несколько картофелин или немного зерна. Во всяком случае, чтобы поесть, этого было недостаточно. Мы всегда ходили полуголодными. И однажды бабушка поддавалась искушению. Поздней осенней ночью она договорилась с деревенскими пробраться на убранное картофельное поле и подобрать оставшиеся мерзлые клубни. Это считалось большим преступлением. Один из основных принципов социалистического сельского хозяйства гласил: урожай мог преспокойно спать в поле, но частные лица и тронуть его не смели. Измученные голодом люди и не надеялись на большее, только бы собрать упавшие колоски или оставшиеся в земле картофелины.

Увы, бабушку и ее сообщниц, разумеется, задержали и за расхищение социалистической собственности отправили в тюрьму — какая то кутузка была и в Буганой. Держали ее там несколько дней, а я (было мне три или четыре года) остался совершенно один. Это могло кончиться весьма плачевно, на милосердие в военное время нечего было рассчитывать — поступок бабушки могли квалифицировать как военное преступление. Но, скорей всего, и у кого-то из милиционеров смягчилось сердце, и бабушку наконец выпустили.

Однажды летом бабушка вместе с другой латышкой из деревни в укромном месте между нашим и соседским домом растили козленка. Осенью его зарезали, это и было единственное прибавление к зимней пицце. Я хорошо помню, как козье мясо делили на маленькие кусочки, считали и распределяли, чтобы нам хватило до весны.

Маленькие сибиряки были моими товарищами по играм. Ни одного латышского ребенка я в глаза не видел, только помню, как трудно было на чужбине ладить со сверстниками — и не только из-за языка: русский я знал вполне достаточно. Это было нечто другое. Когда вошло в моду слово «ментальность», я понял, что именно это неуловимое «вещество» иногда возводило забор между нами и мною. Очевидно, латышская ментальность уже сидела внутри меня; ведь никто ничего мне не рассказывал и не учил меня. У меня и у русских детей было различное восприятие, неодинаковая реакция и поступки. Я часто ощущал себя чужаком. Но другой компании не существовало, надо было привыкать к той, что была.

Зимой мы катались на самодельных санках с сугробов и горок. Это была большая радость, и к тому же единственная, так что я ликовал от всей души. То, что я ссыльный, то, что в мире бушует война, до моего сознания не доходило. Летом главной забавой было купание в Кане. Вода была чистой и прозрачной, так что можно было рассмотреть каждую рыбку и камешек на дне реки. Среди мальчишек я был, наверное, самым маленьким, и когда они в первый раз бросились в реку вниз головой, я ухнул вслед за ними, потому что не знал, что надо учиться плавать.

Конечно, я стал пускать пузыри и пошел ко дну, но старшие ребята меня вытащили. Я даже не успел сообщить, что произошло.

На противоположном берегу Кана простиралась тайга. Деревенские старики и ребята постарше переплывали реку на самодельных лодках и отправлялись на медвежью охоту. Мы, медведя, оставались на этом берегу и ждали, когда они вернутся. Однажды они на самом деле убили медведя, смутно припоминаю, как его вытаскивали из реки.

Осенью вся деревня собирала кедровые орехи; чистили, сушили, готовили зимний запас. Это была вкусная и щедрая пицца; к сожалению, у бабушки не было ни времени, ни сил собирать орехи, а я был слишком мал, к тому же собирать орехи нужно было уметь. Но старшие мальчишки делились с нами добычей, и у меня сохранились воспоминания, что порой я мог пасться орехов до отвала. Не помню, чтобы я в Сибири когда-либо падался добычей чем-нибудь другим.

Однажды, когда мы зимой катались на санках, палтела пуря, я нечаянно отбилел от ватаги и заблудился. Все было точно-точно как в фильме «Долгая дорога в дюнах». Правда, я заблудал не в тайге, а на деревенском кладбище. Бархатясь в глубоком снегу в кромешной круговерти, я выбился из сил и прилег возле какого-то креста. Мне стало хорошо, очень хорошо... Взрослые все-таки отыскали меня и привели домой. Так я еще раз был спасен от почти неминуемой смерти.

В Сибири я провел время от неполных двух до семи лет своей жизни. И все эти пять лет я часто и трудно билел. Бабушка дивилась, что я вообще остался жив. Думаю, что я выжил потому, что хорошо кормленный и ухоженный до ссылки, я успел накопить силы и здоровья.

В Сибири, разумеется, не было ни врачей, ни медиков. Единственными целителями, когда случались ядовитые грибки, ангины или кори, были время и бабушкин травяной чай, а чаще всего — чистая кипяченая вода. Самой злой болезнью для меня оказалась скарлатина. Она осталась в памяти долгим багровым жаром.

Поднялась очень высокая температура, и целых три дня я пролежал без сознания. Бабушка, увидев, что это конец, выпросила у соседей длинный деревянный ящик. Однако же на третий день я заневелился, стал слабее дышать и понемногу возвращаться к жизни. Люди знающие учили бабушку, что скарлатину надо лечить керосином — хорошо смазать им ступни и держать в тепле. Керосин, как и все по время войны, был большой редкостью, но бабушке где-то удалось совсем немного раздобыть его, и она все сделала, как положено: натерла ступни и пододвинула ближе к горящей печной топке. Ступни мои веныхнули, но бабушка не растерялась и успела набросить на меня одеяло, так что все обошлось.

Близился день возвращения домой, и в разговорах бабушки и другой нашей землячки, с которой нас породнила судьба, все чаще стало звучать слово «Латвия». Для меня это было совсем незнакомое понятие, неизвестно почему занимавшее мои мысли и воображение. Бабушка была так изнурена работой, что не успевала заниматься моим воспитанием; я только изредка слышал от нее ту или иную народную поговорку, всегда к месту и ко времени. Зато наша приятельница-латышка, насколько я теперь понимаю, была более образованна, возможно — учительница по профессии, она и принялась меня учить. Было у меня нечто, похожее на букварь, по которому я учил первые латышские буквы. Может быть, моя учительница сама нарисовала эту азбуку и сплила листочки.

У нее у первой я спросил прямо: «Что это — Латвия?» Я догадывался, что это такое место, но я то знал только деревню Буганую, Заозерный, тайгу и речку Каи и ничего другого представить не мог. Моя добрая учительница подняла на меня сияющие глаза и сказала: «Латвия — это большой-большой зеленый луг, где много бурых коров». Эти слова так глубоко зашли мне в сердце, что звучат и по сей день. Бурые коровы на зеленом лугу стали для меня своеобразным символом Латвии, даже гербом, лаконичным образом, который вместил в себя бесконечно важное содержание. Трудно поверить, что у моей учитель-

ницы и Спори были цветные карандаши, но я совершенно четко помню этот ярко-зеленый луг и коричневых коров, которых она мне нарисовала. А может быть, это была воображаемая картинка, которую создаю сильное переживание.

По всей видимости, я не единственный человек, который в нашем двухлатовике — «коровке» — видит и ощущает подлинный символический смысл изображения. Не знаю, кому именно пришла в голову счастливая мысль отчеканить эту латвийскую монету, но я благодарен этому человеку.

В Латвию мы смогли вернуться уже в 1946 году. Допускаю, что это заслуга моего отчима — добровольца Румнитиса; ведь мама, выйдя за него замуж, в известной мере порывала со своим «улманисовским прошлым». И все же, когда бабушку и обоих ее сыновей через четыре года выслали вторично, возвращение в 1946 году было квалифицировано как незаконное и самовольное. Но тогда каждый старался использовать малейшую возможность, чтобы вернуться домой.

Наш путь из Красноярска в Ригу, продолжавшийся несколько недель, я запомнил хорошо. Ехали в товарном вагоне, кое-как приспособленном для перевозки людей. Эшелон начал свой путь на Дальнем Востоке — в нем, закончив войну с Японией, возвращались бойцы советской армии. Мы в вагоне были, наверное, единственными гражданскими лицами и ютились в тесном углу. Теперь, с расстояния минувших лет, я могу понять буйство молодых парней и зрелых мужчин: война кончилась, они живы и едут домой. Все тогда надеялись, что жизнь станет лучше. Как они вели себя — будто с цепи сорвались: пили, буянили, кричали, казалось, вагон рассыплется на части. Я из своего уголка наблюдал за этим сумасбродством с величайшим изумлением, ведь в своей сибирской деревне мне не доводилось видеть ничего подобного. Вообще-то ситуация была далеко не безопасной: дни и недели мы проводили в окружении напропалую кутивших мужиков, деваться нам было некуда и даже подвинуться нельзя.

Для сна в товарных вагонах были устроены обыкновенные нары, кажется в три этажа. Однажды откуда-то сверху спустился русский офицер и сказал маме, что ребенку не полагается все это видеть и слышать. Он поднял меня на верхнюю полку, устроил возле стены, а сам лег с краю. Тут уж я мог блаженствовать: никто меня не толкал, перед глазами больше не мельтешили пьяные. Здесь было

спокойно, к тому же у потолка находился люк, через который я лежа мог наблюдать, как пробегает мимо бесконечная Россия — леса, равнины, деревни, города...

Поезд то мчался, погромыхивая на стыках, то долго стоял на станциях, где иногда перецепляли вагоны от одного состава к другому. Люди повсюду были истощенные, оборванные, обнищавшие, но я на это не обращал внимания, ведь иных я никогда и не видел, да и сам был таким же. На станциях, как только поезд останавливался, все, схватив чайники, мчались за кипятком — горячая вода в нашем бесконечном пути считалась самой большой ценностью и благом.

Так мы вернулись в Ригу. До сего времени я храню в душе благодарность к тому русскому офицеру, который поднял меня и поселил на острове над бушующим океаном, где я мог чувствовать себя в безопасности.

Вернувшись в Латвию репрессированным ни в коем случае не позволялось селиться в родных местах. Но это все равно было невозможно, так как все дома были заняты. Нередко целые семьи из Латвии депортировались именно потому, что нужны были квартиры со всей обстановкой, главным образом для военных и чекистов.

Когда мы заявили из Сибири, моя простодушная мама пошла в свою бывшую квартиру на улице Стрелниеку в надежде взять какие-либо вещи, ведь у нас не было ничего. В квартиру она каким-то образом попала и успела обрадоваться, увидев за приоткрытой дверью свой буфет со всей посудой и другую утварь. Теперь здесь жил офицер из высших чинов. Мама принялась объяснять, что она только что вернулась из России и хотела бы взять назад свою собственность. Офицер кратко ответил ей, что у нее есть выбор: или настаивать на возвращении имущества и немедленно вернуться туда, откуда приехала; или без каких-либо претензий мигом исчезнуть и жить тише воды, ниже травы, благодаря судьбу, что она вообще может остаться в Латвии. Мама, разумеется, долго раздумывать не стала и в слезах собралась уходить. В последний момент она заметила брошенное среди рухляди чучело головы лося — мой отец подстрелил его в Вестеросе, когда в 1938

году охотился в Швеции. Эту лосиную голову матери милостиво позволили взять. Она и по сей день хранится у меня. Этот охотничий трофей и книга Яниса Сартса «Древность» с автографом — единственные вещи, доставшиеся мне от отца как память, ибо он действительно держал их в своих руках.

В минувшем году, накануне встречи с большой группой российских журналистов я перелистал некоторые документы и статистические данные о вторичной оккупации, или, как нам внушали, «освобождении», в 1944 году. В то время более четверти всех рижских квартир захватили чекисты и армия. Хозяев этих квартир выселяли или, в лучшем случае, просто выселяли — в считанные часы или даже минуты. Когда я читал эти документы, у меня перед глазами стояла моя мама, робко попытавшая попросить назад свои гарелки, ножи и вилки и изгнанная с порога родного дома как непрошайка и преступница.

Многие из этих завосвателей-мародеров, утесдившиеся в квартирах обездоленных рижан, живут там и поныне, пользуясь награбленной мебелью и посудой. Время от времени они собираются на очередной «праздник освободителей» и сетуют на страшные нарушения прав человека в Латвии. Власть выскользнула у них из рук, голоса заржавели, но именно бессильная ярость приводит их в состояние неистовства. А мы вынуждены беспрестанно оправдываться и давать разъяснения, почему тому, другому или третьему мы не можем дать латвийское гражданство.

Назойливо повторяемые слова: «мировое сообщество нас не поймет», — в ушах латышца звучат как насмешка, однако мы должны сознавать, что «мировому сообществу» и в самом деле трудно понять, что же с нами произошло. Ибо это находится за гранью восприятия и разума нормального человека; это нечто неправдоподобное и бессмысленное, почти иррациональное.

Этими размышлениями я поделился с российскими журналистами, и сотрудники нашего Министерства иностранных дел слегка корили меня за излишнюю резкость, тем более если принять во внимание, что эти журналисты

были настроены очень лояльно и приехали для того, чтобы написать и рассказать о нас правдиво и доброжелательно. Но разве человек, намеревающийся быть объективным, не должен знать всю горькую правду? У него должны быть в запасе аргументы, если он собирается выступать против тех, кто изображал латышей как «охотников за ведьмами» и ненавистниками всего русского и русских. Говорить о присвоении гражданства всем, кто пожелает, в том числе палачам и грабителям, это значит сыпать соль на открытые раны, ведь у тысяч латвийских граждан они не зажили до самой смерти. Компромиссный вариант такой человек способен принять, лишь стиснув зубы, а если он не в состоянии этого сделать и кричит от боли, то нельзя его за это осуждать или упрекать.